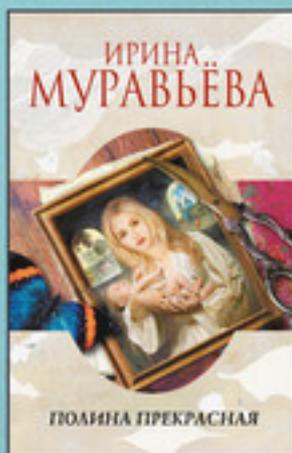


Ирина Муравьева

Шестая повесть И.П.

**Белкина, или Роковая любовь
русского сочинителя**



*Часть сборника
Полина Прекрасная (сборник)*



Ирина Лазаревна Муравьева
Шестая повесть И.П. Белкина, или
Роковая любовь российского сочинителя

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4988925
Полина Прекрасная : повести / Ирина Муравьева: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-62608-3

Аннотация

«Прежде всего не мешает сказать, что Иван Петрович Белкин был самого нервного характера, и это часто препятствовало его счастью. Он и рад был бы родиться таким, какими родились его приятели, – люди веселые, грубоватые и, главное, рвущиеся к ежесекундному жизненному наслаждению, но – увы! – не родился.

Тревога снедала его...»

Ирина Муравьева

Шестая повесть И.П. Белкина, или Роковая любовь русского сочинителя

Прежде всего не мешает сказать, что Иван Петрович Белкин был самого нервного характера, и это часто препятствовало его счастью. Он и рад был бы родиться таким, какими родились его приятели, – люди веселые, грубоватые и, главное, рвущиеся к ежесекундному жизненному наслаждению, но – увы! – не родился.

Тревога снадала его.

Особенно утром, когда проснешься, бывало, в квартире на Подкопаевском, которую Иван Петрович даже и полюбил со временем, хотя первые недели после деревенского раздолья никак не мог привыкнуть к тесноте нового жилища. Столица наводила на него то страх, а то дикий какой-то восторг. Страшно было одиночество, особенно по ночам. В деревне ведь как? Всегда кто-то рядом: вот маменька спит, вот котенок, вот няня. А здесь, в Подкопаевском? Здесь никого. Постепенно Иван Петрович втянулся в столичное житье, и ни один человек, кроме самих участников горестной этой истории, не знал, зачем он впоследствии вернулся обратно в деревню, оставил столицу и службу оставил, и чем так изранен был весь и насквозь.

Об этом, собственно говоря, и пойдет речь. Но и тут нужно не торопиться, а сказать, что невинность свою Иван Петрович потерял за два года до переезда в столицу, и случилось это дома, то есть в деревне, на восемнадцатой весне его. Будучи неисправимым мечтателем, он часто покидал двор и уходил куда-то подальше: в поля, например, и в дубравы, и в рощи и там предавался мечтам.

Однажды, тем днем, когда сама природа, кажется, так и изнемогает от обилия света, разлившегося по каждой жилочке ее, по каждому листку и лепестку, а птицы поют и красивей, и жарче, чем даже певцы в самых лучших театрах, и нету не только что зла на земле, но даже намек на зло нигде нету, лежал совсем юный Иван Петрович в расстегнутой на груди белой рубахе под деревом и тихо, беспечно дремал в наслаждении. Вдруг шорох его пробудил. Иван Петрович открыл глаза и прямо перед собою увидел женщину, еще молодую, однако не слишком, с большой, ярко-рыжей косой, в просторном сарафане и с такими любопытными зелеными глазами, что он даже вздрогнул: ни разу не приходилось ему видеть таких глаз не только что на лицах простого сословия, но даже у дам недоступных и знатных. Глаза у крестьянки были чудо как хороши: огромные, цвета травы, в пушистых, как пчелы, ресницах, и веки казались немного зелеными, как будто зрачки разлились под их кожей своей этой жгучей и темною зеленью. Незнакомка смотрела на лежащего под деревом Ивана Петровича с удивлением, но бежать никуда не собиралась, и даже смущенья заметно в ней не было.

Иван Петрович тут же вскочил с примятого мха и вежливо приветствовал рыжую красавицу. Она, не говоря ни слова, наклонила немного крепкую свою шею, слегка блестящую от пота: день жарким был, душным. Губернское лето.

– Откуда ты? – робея, спросил ее Иван Петрович.

– Из Нефедова, – спокойно, густым и низким голосом ответила крестьянка. – Иду по грибы. А ты, видать, барин? Зареченский, что ли?

Крестьянка несла кузовок на веревочке.

– А много ли нынче грибов? – спросил, обмирая, взволнованный юноша.

– Искать – так найдешь, – прошептала она.

Иван Петрович подумал, что работающая женщина намекает на его праздность, и очень смутился.

– Вчера нездоровилось, вот задремал, – сказал он.

– Да мне что с того? – возразила она. – По мне ты хоть дрыхни весь день.

Испугавшись, что она сейчас уйдет, Иван Петрович спросил первое, что пришло ему в голову:

– Воды нет напиться?

Она удивленно блеснула глазами.

– Глухой али как? Ручей-то вон рядом.

И тут же Иван Петрович услышал, как шумит ручей.

– А жарко и впрямь, – сказала зеленоглазая и, плавно шагнув влево, раздвинула папортники, стала на колени, наклонилась к мелкой, переливчатой водице, и рыжая огромная коса ее, смешавшись с травой, так врезалась в сердце Ивана Петровича, как будто жила в этой яркой природе сама по себе, как жили в ней звери, деревья и птицы.

Крестьянка принялась жадно пить воду, глотая ее с упоительным звуком, от которого у Ивана Петровича остро заколотилось сердце. Он уже хотел было тоже опуститься на колени перед ручьем, как вдруг она обернула раскрасневшееся лицо свое и низко и влажно, как будто бы голос ее отсырел, шепнула ему:

– Почто ж ты не пьешь?

В голове у Ивана Петровича мелькнуло, что она слишком смела в своем с ним обращении, но тут же дурацкая барская мысль погасла, как будто ее вовсе не было. Он опустился рядом с нею на землю, губы погрузил в холодную струю, глотнул и взглянул на красавицу. И тут словно дьявол вселился в обоих. Зажглось все внутри: от затылка до пяток. Не соображая, что он делает, восемнадцатилетний мускулистый молодой человек протянул жадные руки к крестьянке и с силою кинул ее в эти травы. Навстречу ему всколыхнулась чужая упругая плоть, забила под ним загорелая кожа с таким же огнем по своей всей поверхности, который сжигал и Ивана Петровича.

Пропала невинность и сладкие грезы, которые часто смущали его, особенно ночью, метельным рассветом, когда, завернувшись в свое одеяло, лежал он и думал о будущей жизни. В грезах своих Иван Петрович видел всегда одно и то же: неизвестную еще барышню, немного напоминавшую Лизаньку Друбецкую, дочку Марьи Никифоровны, но иногда не Лизаньку, которая, по совести говоря, казалась Ивану Петровичу слишком жеманной, а недавно приехавшую в их края молодую вдову Авдотью Андревну Барышкину, всегда во всем черном по случаю траура.

И с этою барышней, похожей то на Лизаньку, а то на Авдотью Андревну, Иван Петрович видел самого себя, счастливого жениха, прямо стоящего под венцом и сквозь умиленные слезы, застилающие глаза, смотрящего то на доброе, в крошечных красных веточках под кожей лицо священника, то на тонкий профиль невесты, сияющий прямо под белой фатою, в цветах и румянце. Вся жизнь с этой милой женой представлялась сплошным упоительным праздником. Конечно, включались и виды сраженья, когда, подхвативши намокшее кровью убитого ротного знамя, бежал он, с собой увлекая солдат и спасая царя и Отечество, но эти виды всегда заменялись счастливой картиной его возвращения домой, где супруга, слегка похудевшая от ожидания, сбегала с крылечка с ватагой детишек. И сразу на грудь припадала, рыдая.

Теперь же, после потери невинности, мечты эти утратили свою притягательность, а сам Иван Петрович словно бы даже огрубел. Женщина, к тому же крестьянка простая, рабыня (ведь можно сказать!), овладела душою и телом его безвозвратно. Он совершенно забросил прежние занятия, перестал готовиться к экзаменам в университет, а ждал только той весьма

жгучей минуты, когда можно будет сбежать снова в рощу, где происходили свиданья влюбленных.

Избранницу Ивана Петровича звали Акулиною, и была она женой кузнеца Пахома, толстого и рябого мужика, за которого вышла по неволе, принуждаемая к ненавистному супружеству обстоятельствами несчастливой судьбы. Судьба ее, впрочем, поначалу была очень даже удачливой. Новорожденным младенцем была она подкинута на барское крыльцо, и молодая барыня Екатерина Федоровна, сама только что из-под венца, но уже брюхатая, вышедши утром из спальни, где крепко храпел ее муж, увидела весь увлажненный росой, прикрытый платком с ярко-синей каемкой, тугой, шевелящийся, нежно кряхтящий, малюсенький сверток. Но, может, не сверток, а что-то живое. Любопытная будущая мать наклонилась и к огромному своему удивлению обнаружила кряхтящего, как это бывает у всех только что появившихся на свет, попискивающего и нежно-румяного в утреннем свете младенца. С трепетом, однако без страха взяла она в руки чужого дитя, вернулась с ним в спальню и прямо на кровать с непроснувшимся супругом своим положила подкидыша. Сильного характера была Екатерина Федоровна, потому что не заахала и не заохала, на помощь никого не позвала, даже и мужа не разбудила, а, развернувши тряпицы, высвободила из них голую и крепенькую девочку, которая взглянула в ясные глаза Екатерины Федоровны своими еще бессмысленными, густого зеленого цвета глазами. Несмотря на недоумение и недовольство пробудившегося наконец супруга, молодая дама тут же сказала, что девочку она оставляет, берет себе в воспитанницы и ни за какие деньги не отдаст ни на деревню, ни в людскую. Зеленоглазую окрестили Акулиной, нашли кормилицу и поместили обеих во флигеле. Екатерина Федоровна до самых родов своих очень интересовалась подкидышем, придумывала разнообразные истории для объяснения того, каким образом на крыльце ее дома появился этот живой, так сказать, подарок, и пришла, в конце концов, к мысли, что девочка Акулина могла быть и не обязательно рабского происхождения, а родилась, например, в результате запретной страсти какой-нибудь городской мещанки. К кому же была эта страсть – неизвестно.

Вся дворня гадала-рядила, считала по пальцем всех здешних брюхатых, однако загадка осталась загадкой. Между тем у Екатерины Федоровны родился мальчик, очень, к сожалению, хворый, с вывернутой, как у птенчика, шеей, и молодая мать, вся исплакавшись от страха, забыла про постороннюю ей зеленоглазую девочку, с головою уйдя в заботы о малокровном первенце. Супруг ее, разочарованный унынием семейной жизни, предался карточной игре и вечно пропадал в гостях, оставляя ее одну по целым неделям. Малокровный первенец умер, не проживши и года, Екатерина Федоровна снова забрюхатела, покрылась желтыми пятнами, стала раздражительной и на маленькую, крепенькую Акулину почти перестала обращать внимание. Акулина тем временем бойко бегала своими, похожими на бутылочки, детскими ножками по всему дому, никто ее не обижал и не трогал, обедала чаще в людской, но бывало, что, спохватившись, располневшая и грустная Екатерина Федоровна вдруг призывала к себе кормилицу вместе с зеленоглазой малюткой, гладила Акулину по отросшим рыжим волосикам, целовала ее в щечку и тут же немедленно плакала, представивши снова умершего птенчика.

После рождения близнецов, тоже болезненных и хрупких, однако же выживших, Екатерина Федоровна полностью растворилась в своих материнских обязанностях и даже на безответственного, проигравшего в карты половину ее приданого мужа махнула рукой.

Подростая Акулина умела читать и писать, а ради забавы Екатерина Федоровна приказала гувернантке своих бледных и худеньких дочек англичанке мисс Харрис – набеленной, в буклях, затянутой так, что дворня лишь диву давалась, – еще научить эту бедную девочку играть даже на клавикордах. Эмилия Харрис была ошарашена, какие способности к разным художествам в себе заключала простая дворовая.

Прошло между тем лет четырнадцать. Возвращаясь из церкви в сильнейшую метель, кучер Екатерины Андревны сбился с дороги и вместо того, чтобы доехать до дома, завез карету с барыней совершенно в другую сторону, где ослабевшая лошадь его встала и не двинулась с места, пока не утихла безумная вьюга. Вернувшись домой, Екатерина Федоровна слегла в лихорадке и вскоре скончалась. Окончательно опустившийся супруг ее принялся устраивать в доме отвратительные оргии, сзывал таких же опустившихся дружков своих, а по весне неожиданно женился на молодой, но жесткой и суровой барышне, быстро прибравшей к рукам и самого вдовца, и дом его со всем еще не проигранным в карты имуществом. Акулине не исполнилось и шестнадцати, как новая барыня, не удосужившись понять ни истории бедной девушки, ни странного ее положения, сослала сиротку в деревню, где не привыкшая к черному труду Акулина познала все тяготы жизни крестьянства. Изредка вспоминала она еще мисс Харрис, нежные прикосновения ко лбу губ почившей благодетельницы Екатерины Федоровны, но постепенно воспоминания эти словно бы размылись под густыми рыжими волосами, заволоклись сумерками долгих осенних вечеров, застыли под неустанно сыпавшимися снегами, и через три года никто не узнал бы в высокой и сильной простолоудинке с руками шершавыми от того, что вечно приходилось полоскать в проруби белье, доить на рассвете корову, а также и жать, и косить, и полоть, а также сгребать жирный теплый навоз на скотном дворе, – никто не узнал бы в ней прежнюю барышню, сидящую в платье за клавирами.

По полному отсутствию приданого и родительской заботы замуж ее выдали не только что не спросясь, а лишь потому, что она приглянулась рябому Пахому своею наружностью. И с этим рябым, неотесанным, вдовым, однако же к ней расположенным мужем такая настала судьба, что хоть в реку бросайся с обрыва, хоть голову в петлю! Пахом ревновал ее денно и ночью: к последнему пьянице, к нищему в церкви, к безносому страннику в струпьях и язвах, таскал ее за косы, бил, вождедея супружеской, простонародной любви.

Люто возненавидевшая его Акулина изредка даже и отвечала ему на удары, и двинула как-то коленом в поддых, – да так, что посыпались искры из глаз. Пахом попритих, но, увы, ненадолго. Шли годы. Детей у них не было, и в страшной тоске простаивала, бывало, бедная женщина перед образом Спасителя, молясь, чтобы Он подарил ей ребенка.

А тут вдруг пошла по грибы и наткнулась на спящего барина. Некоторое время она тихо стояла над распростертым посреди цветущего лесного ковра Иваном Петровичем, любуясь румянцем его и ресницами, пока молодой человек не проснулся, не заговорил с нею, не наклонились они над прохладным ручьем, не толкнула друг к другу их неумолимая сила, с которой не справиться нам, грешным людям.

Через короткое время Иван Петрович принялся размышлять о сложившемся положении так же, как он размышлял обо всем: с восторгом и вечной болезненной мукою. Он твердо знал, что не будь возлюбленная его замужем за рябым Пахомом, не стал бы он и сомневаться нисколько, а тут же бы с ней обвенчался. Что скажут при этом родня и соседи, нисколько его не интересовало. Желание жить своим трудом, никого не угнетая, не мучая, самому добывать кусок простого насущного хлеба, растить в благородных понятиях потомство так сильно охватило трепетную душу Ивана Петровича, что он в ужасе просыпался иногда посреди ночи от постыдных и навязчивых сновидений. Во сне он видел смерть ненавистного мужа, к которой был очень и очень причастен. К примеру, душил его подле рябины. А также бывало, что сбрасывал с лодки. Отнюдь не христианское чувство к Пахому, к тому же не равному ни по рождению, ни по воспитанию, так угнетало порою Ивана Петровича, что однажды он не вытерпел и признался в этом Акулине. К удивлению его, рыжеволосая и зеленоглазая Акулина, оказывается, полностью разделяла это чувство и, быстро перекрестившись, сказала возлюбленному, что кабы не страх загробного наказания для них обоих, давно бы она собрала тех грибов, которые и помогли бы супругу уйти на тот свет и уже не вернуться.

(Вкусны же грибки эти: чисто курятина!) В ужасе прижал Иван Петрович к груди своей обезумевшую крестьянку и просил ее никогда не думать об этом, поскольку нельзя строить счастье свободы на чьей-то насильственной смерти.

Акулина уныло согласилась с ним, на том разговор и закончился. А через пару недель, когда они, как обычно, сошлись утром в роще, и так хороша была стройная баба в просторном и пестром своем сарафане, что вздрогнул рассудок под шапкой кудрей, и тело Ивана Петровича сразу как будто огнем налилось, и желанье его охватило безумно и жадно, но тут-то она, эта стройная баба, возьми да скажи ему важную новость. При этом она провела смуглым пальцем в простом перстеньке по груди и шепнула:

– Ты титьки потрогай. Как камень. Гляди-ка.

С умилением и страхом потрогал Иван Петрович Белкин высокие пышные груди любезной. Они были точно как камень. А в том, что ребенок его, а не рябого и грубого кузнеца, он не сомневался, но что с этим делать, не знал. На свете должно появиться дитя, и это дитя будет жить здесь, в глуши, в пропахшей овчиной и щами избе, а он даже видеть не сможет младенца. И что станет с матерью? Как Акулина, столь гордая сердцем, правдивая, страстная, воспримет такую постыдную жизнь?

Единственное, что немедленно пришло в разгоряченную голову молодому человеку, было решение вырвать свою подругу из ненавистного супружества, увезти ее на край света и там, на краю, жить тяжелым трудом, зато уж по совести и без обмана.

Пока Иван Петрович обдумывал, как и на какие деньги осуществить свое намерение, наступила зима, обледенела приютившая влюбленных роща, и осталось им одно – переписываться. Спасибо помог старый дуб, чье дупло служило укромным хранилищем писем. Рябой туповатый Пахом и не ведал про их переписку, но в том, что жена понесла, был уверен, и часто смотрел на живот Акулины с сомнением горечи и неприязни. И кабы неграмотный этот Пахом был не крепостным рабом, а свободным, то он бы не сделал всего, что он сделал, поскольку отсутствие образования родит в человеке косматого варвара.

Проснувшись однажды на самой заре (едва народившийся месяц, как пряник, облитый глазурью, сверкнул в небесах!) услышал Пахом, что жена Акулина сквозь сон повторяет какое-то имя. Тяжело спрыгнув с печи, он подошел к спящей на лавке под тулупом Акулине и грубо сорвал с нее жаркий тулуп. Она обхватила руками живот свой. Глаза почернели.

– Дите в тебе чье? – прошептал ей Пахом.

– Я мужня жена, – отвечала она. – Чьему ж во мне быть?

Он вдруг навернул на свой крепкий кулак большие ее, темно-рыжие косы.

– А коли не мой? – И он скрипнул зубами.

– А чей же тогда?

– Вот ты мне и ответь! – И он оттянул ее голову книзу.

Она захрипела.

– Винись, говорю! – Пахом побелел.

– А чего мне виниться? Я Господу Богу слуга, не тебе...

– Как так не мене? – удивился Пахом. – Ты ж, сука, жона! И блудить побегла?

Ловкая и яростная Акулина сильным локтем ударила Пахома в бок, чего он не ожидал, и, осев от боли, отпустил ее волосы. Акулина схватила медную ступку, удобную ей для ведения хозяйства.

– Убью тебя, ирода, не подходи!

Пахом отступил. Зная характер несговорчивой жены своей, он в который раз пожалел, что взял себе кралю с господского дома, а не обвенчался с простою крестьянкой.

– Акулька, погодь! Чей приплод, говори!

– А барский! – сказала шальная Акулька. И вся покраснела, как будто от радости.

Пахом безнадежно вздохнул. Скупые слезы выступили на тусклых глазах его.

– Зарыть тебя в землю, гадюка, живьем! – сказал он угрюмо. – Шо ступкой-то машешь? Махала кобыла хвостом да издохла!

Акулина еще крепче сжала ступку в широких ладонях.

– Вели кобелю, шоб тикал со двора, – сказал ей Пахом. – Тобе, окаянной, такой мой приказ: сиди тут и майся, а как разродишься, так буду решать: жить тебе али нет. Что зенки-то пялишь? Оглохла, поди? Жалею ведь, дуру! А так бы прибил. Дитятю жалею!

Любезным читателям невдомек, какие чувства вскипали порою в самых темных и невежественных сердцах русских людей первой половины девятнадцатого столетия! И не потому, что иные господа, угрызаемые наличием рабства в России, шлялись по деревням и обучали крестьянских ребятишек грамоте (они же за это потом заплатились!), а лишь потому, что равны перед Богом все грешные жители этой земли и можно вполне обойтись без ученья: не в грамоте дело, не в образование.

Побелевшая, как снег, Акулина встала с лавки, положила на место медную ступку и низко поклонилась Пахому. А он весь затрясся рябым своим обликом.

Утром на следующий день, истерзанный заботами и тревогами, Иван Петрович просунул в душло мускулистую руку и вынул записку.

«Свет Ваня! – писала ему Акулина. – Молю Христом Богом: беги и сокройся! Узнал он, что я на сносях. Сказала как есть. Ты меня не вини. Крест, Ваня, не мука душе, а подмога. Спаситель за нас на кресте принял смерть. Что будет, то будет. А мне бы тебя хоть разочек обнять. Прощай, ангел мой. Приходи завтра в полдень».

Светлыми хрустальными дрожали провисшие от тяжести выпавшего ночью снега стыдливые ветви берез в зимней роще. Когда Иван Петрович, потерявший от быстрого бега соболью свою шапку, раздвинул дрожащий хрусталь над полянкой, где летом заснул он когда-то, усталый, его Акулина была уже там. Горела вся от нетерпения встречи. Заснеженный платок покрывал ее рыжеволосую голову, и иней сверкал на ресницах. Увидевши любимого своего Ивана Петровича, неверная чужая жена так и припала к молодому человеку, так и обвила его, словно хмель, и слезы ее, прожигая тулуп, смочили Ивану Петровичу горло.

Долго целовались они разгоревшимися губами, и, не выдержав, Иван Петрович растегнул на ней домотканную рубаху и начал ласкать ее пышную грудь. Мороз был в лесу минус двадцать, не меньше.

– Застудишь меня! Очумел! Погоди! – сказала она, наконец отдышавшись.

Он сразу опомнился и покраснел.

– Ну, вот и простились. Теперь уезжай! – шепнула ему Акулина сквозь слезы.

– Куда? – ахнул он. – Тебе скоро родить!

Акулина зачерпнула снега с еловой лапы и обтерла лицо.

– Убьет он тебя, душегубец чумной! Греха не боится! Ты верь мне, я знаю!

У Ивана Петровича задрожал подбородок. Нужно принять во внимание, что молодому человеку было в ту пору всего восемнадцать лет, еще молоко на губах не обсохло, и сердцем он был очень нежен и кроток. Крупная телом, засыпанная снежными искрами женщина, отступив на шаг от юного любовника, поглядела в глаза Ивана Петровича властными своими глазами.

– Ты будешь в земле сырой, Ваня, лежать. Его упекут, он там сдохнет, в Сибири. А мне-то с дитем тогда, Ваня, куда? По свету бродить да слезьми умываться?

Представивши страшную эту картину, Иван Петрович опустил голову. Ведь жить только начал, а тут уже в землю!

Простились они горячо и, поклявшись, что до смерти будут друг другу верны, расстались на той же знакомой поляне.

А к вечеру на следующий день резвая тройка унесла заплаканного и голубоглазого героя нашего далеко-далеко, так что только через два года, вернувшись обратно в деревню, увидел он снова свою Акулину. Однако не будем покамест об этом. Всему свое время.

По настоятельной просьбе маменьки своей, Елены Александровны Белкиной, женщины пылкой, нервной, влюбленной в единственного сына своего Ивана Петровича до затемнения рассудка, что, впрочем, часто бывает свойственно российским, турецким и итальянским матерям в отличие от австралийских, ненецких и жительниц островов Южной Африки, – так вот, по настоятельной просьбе маменьки Иван Петрович не поступил на военную службу, а, используя родственную протекцию, принялся служить в департаменте. Нечего и говорить, насколько тяжелы были первые месяцы новой московской жизни! С самого начала обнаружилось, что у выросшего на природе Ивана Петровича, хотя и получившего прекрасное, как думала его наивная маменька, домашнее образование, не хватало ни приличных манер, ни знания света, ни той ловкой юркости, которой обладают люди, с малых ногтей втершиеся в гостиные и бальные залы. Оказалось, что самым большим недостатком нашего героя было наличие той самой души, которая прежде так выгодно отличала Ивана Петровича от равнодушных и заносчивых приятелей. Директор департамента, под непосредственным началом которого служил Иван Петрович, долгое время повергал его прямо-таки в смятение: казалось, что, лишь только господин этот появлялся утром в приемной, как тут же он и принимался ловить на своей физиономии чужие и подобострастные взгляды и ради вот этого жил. Да как жил! Роскошно, по мнению Ивана Петровича. Но стоит ли жить, если ты забываешь, зачем человеку отпущена жизнь? Не ради же только нарядного платья! Не ради же подобострастных улыбок!

Маменька, оставшаяся в деревне, и представить себе не могла, как сжималось сердце у ее единственного сына оттого, что самые тоскливые и надсадные мысли по многу раз на дню приходили ему в голову! Она заботилась лишь о том, чтобы у Ивана Петровича не было нужды в деньгах, но откуда ей было знать, какие огромные средства нужны молодому человеку для нахождения в роскошной столице?

С первых же недель Иван Петрович почувствовал, что ни того, что присылалось ему из деревни, ни жалованья не хватит, чтобы жить так, как жили другие, то есть ходить в театр, ездить на балы и музыкальные вечера, регулярно навещать знакомых. Маменька происходила из хорошей фамилии, родни было много, пешком не пойдешь по морозцу с визитами! Несколько раз решался он на то, чтобы собрать манатки и вернуться в деревню, но всякий раз веские причины удерживали его. Главной причиной было, разумеется, обещание, данное Акулине, которую Иван Петрович часто видел во сне, и всякий раз она плакала, но только лишь он пытался обнять ее, как возлюбленная крестьянка отскакивала прочь и несколько раз даже погрозила Ивану Петровичу пальцем! Он не мог разгадать странного этого сновидения, мучился, но грозно поднятый палец ее действовал на него магнетически: Акулина явно запрещала ему возвращаться.

При этом вокруг были женщины. Вот что ужасно! Представьте себе: вы выходите утром, румяный со сна, полный сил и здоровья, выходите вы, словом, из Подкопаевского, спеша, чтобы не опоздать в департамент, а тут! Да уж что говорить! Тут женщины! Много! В платках, в капорках! И ножка, бывает, мелькнет из-под юбки! И щечки, как розы!

Женщина в человеческой жизни, конечно, наваждение и непосильное испытание. С этим даже младенец не станет спорить. Радость человеку от женщины – короткая: ну, час, полтора, а страданий достаточно. Любезный читатель, ведь я – от души: давайте обсудим. Зачем нужна женщина? Прибрать, приготовить? Наймите кухарку. Она вам навертит таких трюфелей – тарелку оближете, вилку проглотите! Прибрать – это мелочь. Ну, пыль вам любая смахнет, а постелю вообще можно не застилать: ни к чему,

ведь вечером снова в нее же ложиться. Короче: в хозяйстве без женщины легче. Любая прислуга дешевле жены. Так, значит, все дело не только в хозяйстве. А в чем тогда дело? В любви? Ах, увольте! Ведь чем все любви-то эти кончаются? А тем, что проснетесь вы ночью однажды, а рядом лежит крокодил крокодил! И светит луна на него, крокодила. И вздрогнете вы и покроетесь потом: откуда же здесь крокодил-то, в квартире? Потом только вспомните: «Я ведь женился! Но та вроде Катя была! Или Маша. Так все-таки кто же? Хоть Катя, хоть Маша, но не крокодил же! Я точно ведь помню!» А дети пойдут? Тут совсем не до жиру. Откуда же, кстати, они вдруг «пойдут»? Ну, это у доктора надо спросить. Заплатите доктору, он вам расскажет.

Пишу вот, а кровь так и льется из сердца: ну, что вы молчите, любезный читатель? Не верите мне? Хорошо, будь по-вашему. Потом убедитесь, а поезд – тю-тю!

Ивану Петровичу, от природы романтичному и возвышенному, женщина всегда представлялась загадкой. История с Акулиной разбудила в нем молодую и здоровую чувственность, которая теперь не давала одинокому Ивану Петровичу ни минуты покоя. Под утро особенно. Под утро – как раз когда начинался завораживающий душу колокольный звон – в Иване Петровиче просыпался прямо-таки зверь. И выл, и ревел, и когтями рвал плоть. Под утро маячило перед глазами растение, что ли, пушистый цветок, с которого он обрывал лепестки, и мял его, и прижимал к пересохшим губам своим, чувствовал сладость и тут же какую-то терпкость во рту и удушие. Потом он стонал, потом опоминался и, радуясь, что он один, и букашка, – случись запозти ей к нему на постелю, – и та никогда его стыд не узнает, скорей звал Федорку охрипшим баском, прося принести ему свежей водицы. И лучше холодной. Со льдом, из колодца. (Колодцев в Москве уже не было, впрочем. Везде процветал неумный прогресс.)

Мещерский, старинный приятель Ивана Петровича по детству и отрочеству, давно перебравшийся в Москву и теперь опекавший только что приехавшего новичка, взял на себя труд ознакомить «румяную деревенщину», как он про себя окрестил нашего героя, со всеми соблазнами шумной столицы. Иван Петрович Мещерского слушался, а от комментариев по врожденной стыдливости старался удерживаться.

Получив солидную долю отцовского наследства, молодой, высокий, с немного бульдожьим лицом, Ипполит Мещерский зажил на широкую ногу, хотя немедленно влез в долги, ибо даже и значительных отцовских денег не хватило. Скромный Иван Петрович так и ахнул, когда приятель пригласил его осмотреть кабинет, в котором находились диковинные и ни разу не виденные Иваном Петровичем предметы. Во-первых, оказалось, что лентяй и бездельник Мещерский весьма интересуется познанием мира и пристальным взглядом следит за Вселенной. Иначе к чему ему были и глобус, и микроскоп с застывшей под ним невесомой бабочкой, напомнившей Ивану Петровичу вольное деревенское житье, и многочисленные зрительные трубы, и инструменты для рисования с натуры? Видать, изменился он с детства и отрочества, когда только бил колотушкою кошек и все норовил ущипнуть (да покрепче!) задастую Дуньку, служившую в комнатах. Теперь, кроме сразу бросавшейся в глаза образованности, Мещерский поразил Ивана Петровича особым вниманием к своей внешности: отрастивши, например, густые, шелковистые усы, он следил за формой их с тем же трепетом, с которым какая-нибудь засидевшаяся девица следит за появлением прыщиков на своей переносице, и так же, как эта девица, приходил почти в отчаянье, если оказывалось, что надетые им на ночь специальные современные приспособления – «наусники» – соскочили, и тут же усы, очутившись на воле, утратили строгую нужную форму. При всех этих новшествах Мещерский характером своим не слишком изменился, любил удовольствия жизни и пуще всего любил женщин, что, в общем, понятно и даже простительно.

Любезный читатель! Вот вам сколько лет? Зарделись, однако. С чего это вдруг? Положим, что вам сорок пять. Что ж такого? Неужто побольше? Однако... По виду я вам не дала бы. Ни-ни! Конечно, гимнастика. Гимнастика, ванна со льдом, ананасы. Но все это – тьфу! – если вы не любили, не любите и не решили до гроба любить и страдать от любви. Любите, не бойтесь! Поскольку любовь получше гимнастики, слаще, чем фрукты. Ее с ананасом и сравнивать глупо.

Разумеется, Ипполит Мещерский, хоть и понаставил в своем кабинете микроскопов и глобусов, хоть и смотрел на московские улицы исключительно через стеклышко лорнета, ни о какой-такой философии и думать не думал, а просто влюблялся, бросал, вновь влюблялся и снова бросал, ибо в этом загадка всегдашних волнений, полезных здоровью. Обрадовавшись приезду в столицу Ивана Петровича, Мещерский немедленно приступил к нему с вопросами, касающимися столь интимных сторон человеческого существования, что мы пересказывать их не желаем. Кидает, по правде, и в холод, и в жар. Сейчас вот другие совсем времена, сейчас вот стесняются люди разврата, а во времена крепостничества – ужас! Совсем никогда ничего не стеснялись. Изнывающий от тоски по Акулине, Иван Петрович просто-душно поведал Мещерскому трагическую историю своей любви с крестьянкой и, всхлипнув, сказал, что ей скоро родить. Мещерский поправил усы, крепко обнял унылого деревенского друга, вздохнул от избытка сочувствий, но тут же залился веселым раскатистым смехом.

Иван Петрович отскочил от него как ошпаренный.

– Постой! – И Мещерский закашлялся даже. – Постой, я тебе объясню... Тут ведь как? Тебе нужна женщина, это понятно. Поскольку без этого самого... Короче: без *этого*... Ты понимаешь...

Иван Петрович стал такого же цвета, как малиновая бархатная кушетка, на которой, хохоча, развалился его приятель.

– Да что ты стесняешься, Ванька, ей-богу! Неужто ты думаешь, что твоя Фекла, пардон: Акулина, пардон, я ошибся, неужто ты думаешь, что Акулина заменит тебе наслаждения жизни?

Иван Петрович стиснул челюсти и кивнул. Столичный приятель перестал смеяться и посмотрел на него с состраданием.

– Да-а-а... Вы там, в деревне, совсем одичали, – сказал ему скороговоркой Мещерский. – Но я тебя вылечу. Прямо сегодня! Поедем-ка мы с тобой к Эльзе Иванне.

– А кто это? – мрачно спросил его друг.

– Увидишь, увидишь! – ответил Мещерский. – Отборные девочки, просто картинки!

Проклиная свое малодушие, Иван Петрович уселся с ним в сани, которые вскоре остановились у довольно приветливого, свежепокрашенного деревянного дома в самом центре Замоскворечья. Приятель его откинул медвежью полость, оба вылезли. На двери желтела медная табличка с затейливой надписью: «Мадам Эльза Карловна фон Обергейм. Девицы и дамы». Мещерский дернул звонок, раздался писклявый звук, как будто бы за дверью наступили на мышонка, и тут же она отворилась с помощью немолодого, брюзгливого вида лакея в поношенном фраке, рукава которого были слишком коротки для его больших и волосатых рук. Мещерский хлопнул лакея по плечу и тут же взбежал вверх по покрытой красной вытертой ковровой дорожкой лестнице. Опустив глаза, словно испугавшись, что неприятный лакей узнает в нем своего родственника или близкого знакомого, Иван Петрович поспешил за ним. В гостиной, обставленной дешевою, но чистой и чинною мебелью, сидела молодая девица в открытом розовом платье, с шелковыми розами в волосах и делала вид, что разучивает пьесу на клавикордах. Она шурилась, глядя в ноты, и неуверенно нажимала пальцем на клавиши, хотя по отсутствующему, нарумяненному лицу было件 понятно, что музыка совершенно не трогает ее сердце. Увидев вошедших друзей, девица привстала со стула, и

Иван Петрович поразился выражению жалобной готовности, остановившемуся в ее глазах. Мещерский взял руку девицы и чмокнул ее чуть повыше запястья.

– Мадам сейчас выйдут, – сказала девица, – они отдыхают. Легли очень поздно.

– А мы не торопимся, – игриво ответил Мещерский. – Вот друг мой. Недавно приехал в Москву. Пока не обжился, но все впереди.

«Бедная девушка», как мысленно окрестил ее Иван Петрович, еще жалче улыбнулась и поправила шелковые розы в волосах.

– Желаете вы лимонаду? – спросила она.

В это время, торопливо шумя платьем, из смежной комнаты вышла хозяйка заведения Эльза Карловна фон Обергейм, которая, судя по чертам старого и красного лица своего, была когда-то красавицей и теперь, в шестьдесят с лишним лет, вела себя так, словно вся ее прелесть осталась при ней.

– Дафно вас не фидно, – с акцентом заговорила она, улыбаясь Мещерскому своими все еще пухлыми губами. – Ви где пропадад?

– Дела, Эльза Карловна, неотложные дела, душа моя, – ответил Мещерский все так же игриво. – Приятель вот прибыл из нашей губернии. Росли мы с ним вместе. Любите и жалуйте.

Эльза Карловна перевела умные и хитрые глаза на Ивана Петровича.

– Ах, мы ошень рады! Крюшону? Шампанского?

– Да вы лучше нас познакомьте с девицами, – строго сказал Мещерский, давая ей понять, что дело – прежде всего. – А после уж можно шампанского.

Эльза Карловна мигнула сидящей за клавирами «бедной девушке», и та торопливо ушла. Не прошло и минуты, как из той же двери, в которую скрылась розовая, появились еще три девушки. Вошедшая первой, высокая и очень полная, блеснула на гостей какими-то исступленными глазами и тут же хихикнула, словно смутившись. На этой высокой и смешливой девушке было красное платье, цвет которого казался слишком ярким и резал зрачки, будто бритвой. Вторая была очень худенькой, хрупкой, по виду не больше тринадцати лет, с едва выступавшею бледною грудкой, однако столь сильно открытой, что даже немного торчали соски. На впавших щеках ее горели чахоточные пятна, и на худеньком личике было то же выражение жалобной готовности, которую Иван Петрович успел заметить у девушки с розами. И, наконец, третьей оказалась испанского или, может, даже цыганского вида красotka в коротеньком платьице, с белым мехом, накинутым на круглые, оливкового цвета, плечи. Все эти девушки, включая и ту, которая только что сидела за клавирами, разом заговорили что-то очень приветливое, бессмысленное и развязное, отчего небольшая комната наполнилась звуками, похожими на те, которыми наполняется птичник, едва в него входит, согнувшись, чтобы не удариться о притолку, суровая хмурая птичница. Сердце так сильно заколотилось в груди Ивана Петровича, что даже в глазах потемнело, и горло сжалось, словно его сдавили веревкой. Он остро почувствовал женское тело, почувствовал запах духов, и их голоса, этих женщин развязных, звучали в ушах, словно песни сирен. Ноги его задрожали, и, чтобы скрыть это, он опустился на затянутый суровым чехлом, однако с пузатыми, золочеными ножками диванчик. Красotka с оливковыми плечами немедленно опустилась рядом, придвинулась близко и нежно спросила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.